



Б. К. ЗАЙЦЕВ

Максим Горький

(К юбилею)

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Пушкин

Имя Горького связано с воспоминаниями дальними. Кажется, в 1898 году был напечатан в «Русской мысли» рассказ его «Супруги Орловы»¹ — первая вещь, по которой он запомнился (говорю о себе; для других, может быть, это «Челкаш», «Мальва» и т. п.).

В зрелом возрасте «Орловых» я не перечитывал. Но юношеское впечатление помню: очень талантливо и очень чуждо. (У Чехова кто-то говорит: «Голос сильный, но противный».) Грубые, мутные краски, сильный темперамент, нескромность, мудрование и сентиментализм — в соединении с яркой изобразительностью. Как писатель известного масштаба, Горький сразу показал себя. Вот такой я, хотите, меня любите, хотите нет. Известен успех его начала. Нельзя сказать, чтобы он был незаслужен. Явилось в литературу новое, своеобразное — новый человек заговорил о новых людях. Все, конечно, помнят знаменитого босяка горьковского — сквозь ходули и слащавость от него все же отзывало Нижним, Волгой — Россией.

Встретиться с Горьким пришлось очень скоро, у Леонида Андреева. Высокий, сутулящийся, в блузе с ремешком, слегка закинута голова с плоскими прядями волос, небольшие бойкие глаза, вздернутый нос, манера покручивать рыжеватые усики, закладывать руку за пояс-ремешок блузы, что-нибудь изрекать, окая по-нижегородски... — таким он помнится. Большая, все растущая слава. И некоторое уже «знамя», наклон влево. Чехов — чистая литература. Горький — вывеска для не-

коего буре-вестничества. В этом смысле он роковой человек. Литературно «Буревестник» его убог. Но сам Горький — первый, в ком так ярко выразилась грядущая (плебейская) полоса русской жизни. Невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-Разбойник. Посвист у него довольно громкий... раздался на всю Россию — и в Европе нашел отклик. Не удивляюсь, что сейчас Сталин так приветствует его: сам-то Сталин, со своими экспро-приациями, бомбами, темными друзьями², был всегда двоюродным братом Горького. Горький лишь возвращался в более приличном мире. (Этот просвещенный мир, увы, долго не распознавал истинного его лица.)

* * *

Правда, он это лицо затушевывал. О, Горький мог отлично играть под «любителя наук и искусств», чуть ли не эстета. Образованным не был, но читал много. (И мучительно старался подчеркнуть, что он «тоже кое-что понимает».)

К удивлению оказалось, например, что он любит Флобера! (Сомневаюсь даже, мог ли его в подлиннике читать.) Вот на этом мы встретились в 1905 году — он оказался моим издателем.

* * *

При буревестничестве своем и заступничестве за «дно» Горький принадлежал к восторгающимся деньгами. Он любил деньги — и деньги его любили. (Признак, что уже не принадлежал к большой русской литературе. Ни Толстого, ни Достоевского, ни Тургенева, ни Чехова не вижу дельцами, а если бы занялись чем-нибудь таким, прогорели бы.)

Горький не прогорал. При нем, как и при Сталине и других, всегда были «темноватые» персонажи, непосредственно делами его занимавшиеся. На них, при случае, все можно было и валить. Не знаю близко дел горьковского «Знания». Разно о них говорили... Во всяком случае, сборники шли превосходно. Писателей ублажали. Таких гонораров, как «Знание», никто не давал тогда. («Шиповник» явился позже³.) Предупредительность, любезность, почти доброта — все это я на себе испытал. Горький взял у меня перевод «Искушения св. Антония» Флобера (для сборника и отдельного издания), На нынешний курс выходило по тысяче франков за лист (перевода!). Было это в 1905 году при начале революции.

Горький жил на Воздвиженке, рядом с «Петергофом», против Архива иностранных дел (какие в саду чудные ветлы, тополя — весенняя радость Москвы!).

Говорили, что черносотенцы готовят погромы. Горького, в огромной его квартире, охраняли. Я был зван на обед. Первое, что в прихожей бросалось в глаза, — выглядывавшие из-за дверей усатые чернявые физиономии восточного типа: будущие «дружинники» восстания — ныне караул. Эти кавказцы, к счастью, с нами не обедали. Но «писатель из народа» был, конечно: тоже неизменный антураж бытия горьковского. Обед отличный. Хозяйка, Мария Федоровна Андреева — еще лучше. Некогда восторгались мы красотой ее в «Потонувшем колоколе» (Раутенделейн)⁴, потом разные роли она играла в Художественном театре... В те наивные годы никак нельзя было вообразить, как дальше все сложится в ее жизни... В те времена была она блистательной хозяйкой горьковского дома — простой, любезной, милой. Да и сам Горький... Вспоминая тот вечер, что плохого могу я сказать? Решительно ничего. Все как в «лучших» просвещеннейших домах. Разговоры о Брюсове и Бердяеве, «Новом пути»⁵ и Художественном театре, любезности, кофе, ликер. В сущности, всю жизнь так обедать, разговаривать и приходилось — будь то Петербург, Москва или Париж. Но вот Горький оказался особенный человек: с ним всю жизнь не прообедаешь.

А с Флобером и «Антонием» все обошлось отлично.

* * *

Разумеется, никто Горького не громил. Сам он как раз вскоре после этого в газете своей «Новая жизнь» выпустил когти: произвел погром Толстого и Достоевского («М-мещане, знаете-ли...»)⁶. На этих «мещанах» Максим Горький, переезжавший с просто хорошей квартиры в великолепную, из одного первого-классного отеля в другой, — засел довольно надолго. Так называемые «годы реакции» (с 1906-го до войны) проводил в большинстве за границей. «Знание» в это время стало сильно сдавать, более модным и столичным оказался «Шиповник». Да и сам Горький находился в упадке. Первый бурный успех его прошел, данных для успеха истинного и глубокого и вообще не было. Не зря появилась статья Философова «Конец Горького». Ю. И. Айхенвальд ответил: «Никогда Горький и не начинался». (И никогда не мог простить Юлию Исаевичу этих слов Горький, что, впрочем, и понятно.)

В те годы я его почти не видал. Запомнилась одна встреча в Эрмитаже петербургском перед самой войной. Высокий человек, в черном пиджаке (прошла мода на романтические блузы с ремешками), вздернутый нос, рыжеватые усики... И ни на кого этот мастеровой никак не действует. Было время, достаточно ему появиться в фойе Художественного театра, и тотчас толпа. А теперь ходят студенты, барышни, дамы, смотрят картины, на Горького хоть бы взгляд. Значит, прощай слава.

— ...Здравствуйте. Удивительное, знаете ли, это культурное хранилище, Эрмитаж. Прямо восхищаться приходится... Вот, например, этот Боттичелли...

— Алексей Максимыч, это не Боттичелли.

— Нет, нет, не говорите... Боттичелли.

— Это Беато Анджелико⁷.

Разве такой уж грех спутать Анджелико с Боттичелли? Но докторальный тон, а потом краска смущения и раздражения. («Я не какой-нибудь босяк, я Максим Горький, культурный писатель...»)

Вот какие времена: Горький стеснялся Беато Анджелико. Видно, что еще не воевали.

* * *

Казалось бы, по романтизму ранних его лет, по патетичности, индивидуализму Горькому из левых ближе всех эсеры. Но он терпеть не мог русский народ — особенно не любил крестьян. Может быть, слишком хорошо на своей шкуре познал жизнь низов. Прекраснодушия интеллигентского в нем не оказалось. И затем, думаю, деляческая, грубая и беззастенчивая «линия» большевиков больше ему отвечает, чем «туманный идеализм» эсеров (с неким религиозным уклоном — это он всегда ненавидел). Ленин, решительный и циничный (если надо, солжет, если надо, предаст), — ему много ближе какого-нибудь Каляева⁸. Реалисты были большевики — как будто бы и далеко метившие, но отлично знавшие низкую сторону жизни (три четверти «гениальности» Ленина и состояли в том, что сумел вовремя сыграть на низких страстях).

Кажется, в полосе литературного упадка Горький еще ближе сошелся с большевиками. На острове Капри, где жил, вокруг него кишели эти люди, чуть ли не из ленинской пропагандистской школы. Да и сам Ленин бывал. Горький угадал, где будущая сила, — и отчасти к ней прильнул. Что-то тесно внутренне связывало его с Лениным гораздо больше, чем с приятелем.

лями *молодых* лет: Андреевым, Шаляпиным. На литературе его тоже это отразилось.

Рост истинного художника нередко в том заключается, что от раннего и чрезмерного, от непосредственного «трепета чувств» переходит он к более крепкому, суховатому, обдуманному — глубокому. Бывает даже так, что в этой зрелой полосе он имеет меньше успеха (Пушкин, Гете). Может быть, Горький тем же утешал себя в полном неуспехе натянутой и скучной «Матери» (основное произведение зрелого его периода). Во всяком случае закат свой, и довольно скорый, переживал нелегко. Утешения, справедливые для Пушкина, Гете, для него не подходили. Ибо те развивались, росли, углубляя свое мироощущение. Зрелое творчество их становилось не по зубам толпе. Они меньше имели успеха потому, что слишком перерастали середину, и художество их питалось из глубоких источников религиозно-философских. Горький же поставил на марксизм. Правда, в ту пору еще осторожно. Сам был слишком силен, своеобразен, чтобы целиком лечь «под стопы паньски». Но последствия сразу определились: не было еще случая, чтобы выигрывал (внутренне) художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Вот уж подлинно закон, а не благодать!⁹ Искусство все построено на благодати и на живой таинственной личности. Марксизм человека вообще стирает. Он мертв и не благодатен. Враг художника. От него должен всякий, желающий идти «дорогою свободной», отрешиваться, как от нечисти.

Горький не сделал этого.

* * *

И вот каково положение пред революцией: Горький очень знаменит, но почти не «действующая армия». Книги его идут слабо. Интересы к нему никакого, ни в публике, ни в критике, ни среди художников слова. «Все в прошлом» — это Горький 1912—1916 годов.

Да, но, несмотря на Капри, Ленина, сочувствие в войне Германии и ненависть к оружию русскому, — Горький все же русский писатель с весом, первоклассным именем, авторитетом. Пусть Толстой его не любил, все же Горький дружит с лучшими русскими писателями, принят и желанен в образованном обществе, оценен и за границей. По шаблону казалось бы — академия и безболезненный закат. Но Россия не Франция. С

русской страной и русским писателем приключилось особенное — ни на кого и ни на что не похожее.

Литературно Горький в революцию не врос, но и не очень сдал. Писал вечную историю некоей семьи «кулаков», «звериный быт» при царизме. Какой-нибудь *Клим*, *Фома* или *Егор* проходят жизнь с разными тяжкими и грязными эпизодами (любовь у него всегда животна), потом встречаются *замечательных* социалистов, и все меняется к лучшему. Временами, например в «Исповеди» (и в другом романе с «семейным названием»), попадаются яркие описания быта людей. Помню впечатление, лет шесть назад, от новой его вещи: «Все-таки еще Горький держится...» Он действительно не терял формы. Даже в пределах врожденной аляповатости и вульгарности пытался над нею что-то сделать. От молодости осталась внутренняя безвкусица, цинизм. И возросла антидуховность. Может быть, это одна из самых страшных черт Горького, чем дальше, тем грубей, мрачней, кощунственней он становился. Это сближало его с людьми «новой России».

Но не сразу — далеко не сразу — он сошелся с ними окончательно.

Долгое ли пребывание в интеллигенции, личные связи, свободолюбие молодости — но поначалу Горький оказался даже неким *enfant terrible* * революции. И газета его «Новая жизнь», и сам он в ней с большевиками враждовали. О, конечно, контрреволюционером никогда он не был. На первых порах позволялась ему дворянская вольность критики. Но только вначале. «Новую жизнь» все же закрыли. Горький был личный друг Ленина, и неприятностей для него самого не могло возникнуть... Он попал в положение либерального сановника при консервативном правительстве: ворчать можно, но про себя. А вообще начальство все и само знает, без критики.

В первые годы революции в нем появились новые страсти, окрепли и прежние. Из новых — к титулам, князьям, если можно, даже грандюкам. Для Чека это было, пожалуй, зазорно: Горький хлопочет за Рюриковичей и, по-видимому, коекому помогает. Во всяком случае, в это время появилось у него немало аристократических знакомств. Вторая страсть — к ученым. Не имел никогда никакого отношения к науке, он теперь твердо решил ее не выдавать. («Вы читали радиоактивиста Содли? Знаете-ли, превосходная брошюра...») Здесь, как и с князьями, принялся он развивать полезную деятельность.

* Шалун, озорник, сорванец (*фр.*). — *Ред.*

Правда, радиоактивист Содли в пайке не нуждался, но влюбленный в него русский буревестник насчет отечественных радиоактивистов хлопотал. Чуть ли не при его содействии учрежден был и паек «Цекубу», благодаря которому не окончательно вымерли ученые¹⁰.

Страсть третья — вполне новая и вполне в русском писателе неожиданная: к спекуляции...

* * *

В Москве, на Николаевском вокзале.

— Куда это вы, Алексей Максимович?

— Да в Петербург, знае-те-ли. Спекулировать.

Такой разговор передал мне близкий к Горькому (и очень ему преданный) человек. С ним тот не стеснялся — впрочем, напрасно было и скрывать: горьковское «эстетство» неожиданно в революцию возросло. К восхищению Беато Анджелико, принимаемому за Боттичелли, прибавилось понимание в фарфоре, мехах, старинных коврах... а всего этого тогда появилось немало. И темных людей, вокруг Горького сновавших, тоже немало. Шушукались, что-то привозили, увозили. Доллары, перстни, табакерки... Та самая М. Ф. Андреева, что некогда играла Раутенделейн, теперь, по старой дружбе, летала «дипкурьером» в Берлин, тоже что-то добывала и сбывала, хлопотала, создавала «комбинации».

— Не нападайте на Алексея Максимовича, — говорил мне все тот же общий у меня с Горьким приятель, — он спас 278 человек!

Откуда это известно ему было с такой точностью — сказать не могу. Но и если 27, тоже отлично. Но вот странная черта: об этой деятельности Горького знали все, и кто бы мог ее не одобрять? А все-таки ему не доверяли. Пресса у него была неважная. Например, выборы председателя Союза писателей. Из оставшихся в России Горький несомненно был знаменитейший. Естественно, и ему возглавлять оба отделения Союза — петербургское и московское. Но ни там, ни тут он не прошел (в нашем, московском, правлении не получил ни одного голоса).

...Так из буревестника обратился он в филантропического нэпмана, в подозрительного антиквара, «уговаривающего» Дзержинского поменьше лить крови, в кутящего с чекистами русского писателя, в «кулака» и заступника ученых, в хозяина революционного салона, где могли встретиться Ягода и Мен-

жинский со Щеголевым¹¹ и другими пушкинистами или с «радиоактивистом» на пайке Цекубу.

Помню беглую встречу с ним в одной театральной московской студии. Шла его пьеса «Страсти-мордасти». Очень изменился Горький не только со времен Леонида Андреева, но и со встречи в петербургском Эрмитаже: был мрачен — совсем темное дуновение шло от него. При нем свита подозрительных личностей. После спектакля все они «проследовали» в какой-то кабинетик, где был снаряжен ужин. Помню тяжелое, щемящее ощущение: это уже не писатель. Что-то совсем другое. (Ни одного литератора, кстати, и не было с ним.)

Вот как показалось: в морозную ночь Москвы, когда одних расстреливают на Лубянке, другие мерзнут по Кривоарбатским, третьи («радиоактивисты») голодают, — атаман со своей шайкой пирует в задней комнате захудалого театра.

* * *

В 1920 году, при другой встрече, Горький говорил мне:

— Дело, знае-те-ли, простое. Коммунистов гор-сточка. А крестьян, как вам известно, миллионы... миллионы! Все пред-решено. Это... непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-решено. Коммунистов вырежут.

В 1921 году наступил летом голод — один из самых ужасающих в России. На Волге, в Крыму ели детей... все это на нашей памяти. Летом создан в Москве Общественный комитет помощи — знаменитый Помгол¹² — под председательством Каменева. Это — детище Горького. Он убеждал Прокоповича и Кускову¹³, он втравил и других в это дело сотрудничества с властью в грозную для народа минуту. Сам был где-то за сценой. Вроде маклера и зазывателя. Но в комитет не являлся, и когда всех нас арестовали, Горького не было с нами. Мы сидели в Чека — вдохновитель, быть может, спекулировал в Петербурге или развлекался в Москве.

Все-таки, по сведениям нашим, эту историю он пережил не совсем легко. Еще горше оказалось дело с профессором Тихвинским в Петербурге, на всякий случай расстрелянным¹⁴.

Горький расстроился окончательно и уехал за границу. Начались годы размолвки с советской властью, годы в Берлине, Сорренто, журнал «Беседа»¹⁵. Тут, по-видимому, и возникла серьезная, сложная, с «переменным успехом» обработка его и вновь приручение. В Берлине дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне»¹⁶ и еще красневшим пе-

ред старыми друзьями. С Горьким сближало Толстого чувство изгнанности из порядочного круга. А круг темных личностей так же плотно обступал обоих, как и полагается. В ресторанах у Ферстера и других стыд топить не так трудно.

К 26-му году положение выяснилось. Толстой давно был в Петербурге, халтурничал, денежно преуспевал. Горький тоже окончательно перешел к «ним». Вот что писал он о внезапной смерти одного из величайших русских палачей, Феликса Дзержинского: «Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые его видел в 9—10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18—21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами, благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня и любить и уважать себя. И мне так понятно трагическое письмо Екатерины Павловны (Пешковой)*, которая пишет мне о нем: “Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его”».

* * *

Когда я глядел, как он бродит между со снами, сгребая палочкой сухие листья, думалось: хорошо, должно быть, высоко, честно на душе этого большого человека и большого художника.

*Ал. Толстой. (О Горьком,
15 октября 1932 г.)*

— Ну вот, профессор, вы пожили в Москве, многих видели... Скажите, что говорят теперь о Горьком?

Иностранец: — Одно говорят, я всегда одно слышал: про́данный человек.

Некогда — это кажется теперь случившимся сто лет назад — Горького избрала Академия, наравне с Чеховым и Короленко, академиком по разряду словесности. Государь его избрания не утвердил. В виде протеста Чехов с Короленко сложили с себя звание академиков¹⁷.

«Еду в Петербург спекулировать». «Бесконечно дорогой Феликс Дзержинский».

* Первая жена Горького.

— Прóданный человек.

Перевернутся ли в гробах Антон Чехов и Владимир Короленко?

Тот, кто не пустил Горького в русскую Академию, зверски убит с семьей горьковскими друзьями. Лицо Горького, со щетинистыми усами, смешное и жалкое, отпечатано на советских марках.

* * *

Но дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова.

Лермонтов

Низость людскую большевики хорошо знают. Умение закупать — их дело. Список велик, есть и европейские «звезды», типа Бернарда Шоу.

Госиздат покупает сочинения нужного европейского писателя — хотя может печатать и даром, конвенции нет. Но купить лучше.

Горький мог, разумеется, изменить свое мнение о советах и их правлении. Вот если бы сказал он им «осанна!» и с осанною этою избрал бы бедность и безвестность, то пришлось бы над его судьбой задуматься. Но ему заплатили хорошо... Доллары, особняк, вино, автомобили — трудно этими аргументами защищать свою искренность.

Дали ему не только деньги. Дали славу. «На вольном рынке» ее не было бы, даже Западу Горький давно надоел. Но на родине «приказали», и слава явилась. Она позорна, убога, но ведь окончательно убог стал и сам Горький. В сущности, его даже и нет: то, что теперь попадает за его подписью, уже не Горький. У каждого есть свой язык, склад мысли, человеческий облик. Горький отдал его. Через него говорит «коллектив». Нельзя разобрать. Горький ли написал или барышня из бюро коминтерна! Горькому дорого заплатили — но и купили много: живую личность человеческую.

Слава же его кроме позорного имеет и комическое: назвать Горьким Нижний, Тверскую... Утверждать, что он выше Толстого и Достоевского. Окрестить именем его Художественный театр, созданный и прославленный Чеховым...

* * *

Тяжело писать о нем. Дышать нечем. Пусть он сидит там, в особняке Рябушинского и плачет от умиления над собою самим — слава Богу, что ни одному эмигрантскому писателю не суждена такая слава и такое «благоденственное» житие. Бог с ним. На свежий воздух — «дайте мне атмосферы»!

Милый праведник Чехов!

1932

